

## Содержание

Сокрушенный человек . . . . .	9
Другая езда в остров любви . . . . .	22
Дни сатурналий в Коломенском . . . . .	41
Последняя песня невинности . . . . .	72
Дебри . . . . .	106
В лиловом отсутствии . . . . .	122
Наблюдатели: сад и семя . . . . .	152
Из Тамбова с любовью . . . . .	174
Войны, которые я забыл . . . . .	202
Уебище . . . . .	240
Истребленный пейзаж . . . . .	273

— он чужой, он чужой, он плохой  
ничего не говори, он это лучшее,  
что было со мной  
*«Гости из будущего»*

# СОКРУШЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

Я спускаюсь к реке по опустевшей улице, и мне не о чем более думать: нет, я не утерюл всякую мысль, я не утерюл (как водится, по какой-нибудь поэтической причине) способность к мысли или (того глупее) предался чувствованию. Мне больше не о чем думать: все продумано (шутка, в некотором роде, фигура речи) до определенного (кем?) предела, и что за этим пределом, мне знать нет не только необходимости, но теперь и желания. По опустевшему городу я спускаюсь к реке — город съеден, как мысль, додуман до предела; у города нет края (он ширится домами-муравейниками — вчера край, а сегодня новый квартал: рядом автобусная остановка, супермаркет, детский сад, школа, больница, ипотека и хороший процент по кредиту, — он ширится кладбищами, кои, по мне, делать бы лучше подобно высоткам, только под землю их врыть, — низотки, домовины-муравейники, зеркальные кварталы, катакомбы и град под-

земный — не мысль, а маниловщина), как и у мысли, но есть граница, похеренное имя, забор, за который не ступи, не потому что нельзя, а потому что там не город, потому что негород. Всех загнала болезнь, и не сама болезнь, но страх, предчувствие — неживой город или город неживых, не знаю, как лучше (интересант). А между тем внезапная апрельская жара и сезон пыли — с востока тянет пески и зловоньем. Разложение и распад города, живописные руины, былое и трупы прошлого: сталинский ампир и брежневский модерн, николаевская русь-псевдорусь. Все по швам трещит: штукатурка осыпается, дерево гниет, бетон крошится. Милые развалины, я не то что привык — я люблю. И на дух не переношу новострой (врыть бы его в землю — мертвым мертвое). Может быть, потому, что в руинах я родился и я рос (взрослел и утверждался), (старел и осквернялся) я страдал среди новостроек. Я (некое обобщенное Я, которое больше всякого нечестивого «мы» и подлого «все») ничего, что не рушится, не гниет, не трещит, и знать не желаю: это не жизнь, это не к смерти. Можно даже положить это моим политическим манифестом, положить и забыть, потому что мне, человеку руин, чужды эти дурно пахнущие манифесты (в городе руин не осталось свободных мраморных плит для лозунгов, в городе руин не осталось гравировщиков).

Я иду вниз, я спускаюсь по спуску (зыбкая лестница, сквозь которую вольно растет трава, когда лето) вниз, в низину, в низовье, чтобы смотреть вверх, чтобы увидеть его, чтобы обозначить его — верх виден исключительно из низины, если только спуск не слишком крут и не ограничивает низину, наподобие перечеркнутой таблички, низина — неверх. И не лишь потому.

Я иду по ее следу, я преследую ее, я ищу ее. Ищу N. Ищу место, где бы N отсутствовала совершенно, где бы N не была вовсе, где N нет, где N зияет и опрокинута в высоту, потому наиболее зрима. Странное дело, обреченное дело, больное дело. Сплошная чепуха. Сумятица. Искать N в сезон пыли, когда сама она что пыль. Это я теперь определил, кажется, наверняка (дань великому стилю, а не ради красивого слога... что взять с жителя руин?).

Я всю (что есть) свою (и не только) жизнь (не сказать что патологически долгую, но субъективно длинную) отдал N, не поискам (ищи — не найдешь), но самой N (не сказать что нарочно, что по здравому разумению, но угодил в невольники — как бы иначе), я любовался ее всегда удаляющейся спиной, я поднимался и падал в вихре, образованном ее бегом, я слеп и прозревал в ее сокрытии (но кем? но кого?) — я не верил, но видел, видел со спины; со спины, когда пас овечьи стада под тенистыми сводами

Александрийских стен или сдавал внаем детское тело свое ушлым американским искателям приключений в Танжере, когда от Самарканда гнал караван и задыхался от смрада следов, им оставленных, когда вытаскивал деньги из растопыренных карманов барыг и пьяниц в барах Нью-Мехико, сливал бензин на сибирьей заснеженных магистралях — опять же фигура речи, виподобная N. Но Ви существовала, по крайней мере, мыслилась таковой преследователем. N никогда не была или точнее всегда была каким-то недостающим образом (никогда полностью, но всегда в некоторой степени; в отличие от Ви, которая всегда уже была, N еще никогда не была, потому что полнота N говорила бы о моем отсутствии), и преследователь обречен, и преследователь раздавлен, и преследователь уничтожен самим преследованием — только так, не иначе — его должно разрушить, чтобы возникла N; в этом-то и загвоздка: N никогда не сможет быть утверждена. Фам фаталь. N — не распад, но N обнаруживается в распаде, N — не отсутствие, но N является в исчезании.

N, в некотором роде, — метафора, но только в некотором роде. Иначе ее не изъяснить. Возможно, погоня за N есть преследование при помощи метафоры, погоня за N подобна поэтическому акту, который некоторые называют ситуацией вдохновения или экстатическим восторгом. Только и это сравнение

крайне неточное, крайне ущербное. Если я и уподобляюсь поэту, то исключительно ради упрощения задачи; если я и похож на поэта, то на поэта стыдливого — такого, которому противно и стыдно все поэтическое в нем, и не пастернаковским образом — сама преследуемая сущность отвергает поэтическое, она тяготеет (и это заключение на основе только непосредственного опыта) скорее к религиозному, не в смысле поклонения, а в смысле следования — робкого и решительного одновременно. Божественная интермедия (межсезонье, время пыли и пыльные времена — вынимаю том Валери поплакать; не знаю по-французски и пользуюсь авторитетом переводчика, своего рода тоже преследователя) и по-божески лечь головой меж двух подушек — застрял между пятым и двадцать пятым в низотке. Низотка, по распространенному среди низинщиков/низотчиков/низунов мнению, есть место максимального убытия N, но мне пути туда нет, пока нет, все еще нет: ни пути, ни дороги, ни вэйа. У бытия за пазухой. Запазуха бытия. Показухино пузо.

Я спускаюсь вниз по лестнице, где нет (еще) трав на месте трещин и сколов, но плотно забито мусором: окурками, фантиками, склянками. И дома (дома ли?) оставлена мать — семипудовая некупчиха, которая жаль, что не я; оставлена в болезненном состоянии (у нее нечто с ногами, что, по словам врачихи, такой

же семипудовой, не мудрено при семи-то пудах) стоном отпугивать худо-бедных наемщиков дальней комнаты, а без наемщиков никак не выжить теперь, слишком прожорлива становится N, слишком откормлена становится своим искателем. Была студенточка — худа (как и все прочие), нечистоплотна, казалось бы, что хуже? и та не вытерпела — голова у нее, мол, пухнет, сессию сдать не может (тут, явное дело, не в стонах беда и не в запахе, но в общей студенточкиной нечистоплотности), — жаль, ходила цаплей по коридору, оставляя на полу кофейные подтеки, и пахла немывтыми подмышками по всей кухне (в этой густоте чудилась было N, чудилось была). Был дворничик-бурят, так же худ, но щеками щекаст (работник зари), пил азербайджанский чай и уходил в темноту, подолгу занимал ванну (не промочить глаз послесонно, не продрать) и был монгольское — ничего не говорил (он нем и косо изъяснялся записочками, особенно на бумажках, которые что ли воровал в ЖЭКе) и громко смеялся (и в этом молчаливом смехе казала свой длинный нос N, майоров нос из неленинградской повести, неужной непозмы непущкина (а мне, стало быть, быть назначено в присутствии к трем по поводу, разумеется, присутствия) про немаленького (все еще) нечеловека).

Была тетка, отцова сестра, на дух не переносившая некупчиху, но была мало, но мало быть и плани-



ровала, поскольку, сделавшись паломницей, собиралась посетить несколько монастырей в округе и одну церковь. Тетка замоталась в черное и пошла просить прощения к некупчихе по поводу некой застарелой истории, по поводу повода для обиды, но только пропахла мазью вишневого (некупчиха переняла привычку бурята молчать: не онемела, конечно, но дула щеки и хохотала, если устанет стонать) и уехала на такси просить того же у сил недосягаемых, но не настолько, как N.

Я же отправился к графине на поэтический (хотя собственно поэтического там было до обидного мало, хотя я и не сильно люблю, только если по-настоящему — да где уж теперь это настоящее (графиня, кстати, уверена, что где-нибудь непременно) присутствует?) вечер: много пили, много хохотали (по поводу, например, неожиданного послания в фейсбуке от Жоржика, который был кем-то убежден, что графиня умерла, и писал разубедиться), много вспоминали и вдруг выяснили (еще один повод для смеха, но заразительнее бурятского (некупчихино дешевое дрожание не в счет) я вряд ли когда услышу) нечто занятное относительно памяти или ее отсутствия: сличали друг дружные воспоминания двадцати или болеелетней давности по поводу случая, в свидетелях коего мы все (за редким исключением, хотя и обидным для исключенных) состояли, и ни один

из рассказов не был явлен похожим на прежний (для чистоты в полной предрассказной тишине сделаны салфеточные записи).

После графини пришлось ехать на дачу (салфеточная запись внезапно указала место возможного столкновения/натолкновения с/на N; и вряд ли в этом возможном виднелась некая схема) и вспоминать путем/вэйэм недавнее послание Д., который просил позвонить ему в Бордо, где несколько лет назад выкупил у к смерти больного поэта-эмигранта квартиру и намертво в ней закрепился, чтобы спускаться вечерами к реке и там пить не вино, а водку, потому что привык (хотя я подозреваю, что скорее боялся обвинения в претензии, ибо неэмигрант, не поэт, не француз), и рассказать про снесенный деревянный особняк в Уст. переулке, где напротив росла рябина (рябина, кстати, так и растет), возле которого тоскливо нам плакалось позднеосенним утром после танцев, водки, анаши в квартирке очередного его попечителя, когда внезапно вывалились из такси, за которое (не внезапно) оказалось нечем заплатить — и пузыри рябины, и облезшие доски особняка, и слёзы, и тоска, и (внезапное *sic.*) чувство отсутствия не только денег, про которое он всем потом рассказывал и, кажется, продолжает теперь.

Я спускаюсь вниз низа по спуску лестницы, лестничному спуску, я держусь за холодные перила, на

коих остались еще пятна зеленой краски, в тон кроне, если и когда лето. Я наверняка знаю (см. пер. с дат. «иметь верное знание», ср. иметь скверное знание) о недостаточном отсутствии N даже в низовье: не зову, не плачу (плач над низиной, верховный стон, верховой вой, май долгий вэй по ж. дороге на дачу, где сирень и сарайчик (там заросли и дебри с тех пор, как некупчиха перестала ходить и взрыхлять)), не жалею, не думаю. Спускаясь к спуску, купил книгу в книжном и банку пива в пивном, чтобы по пути (помню лавочку, но не обнаруживаю, может быть, ее, как и особняк) выпить и читать из английской поэзии (по-английски я знаю, потому сам себе искатель — и все же чем дальше, тем жальче подобие), сидя под деревом, которое, покуда еще пыль, стоит ни за чем, не для меня стоит, качаясь и на ветру постанывая, что некупчиха, но та и не на ветру и почти не стоит. Выпить, читать и не думать, потому что о чем? потом и мыслей никаких, разве так — настроения: получить завтра деньги за комнату — запланировать покупку билета и обратно до станции Увр., там уже отмечено, но всё же, но всё же, тем более, давно не был, так что вдруг, а на дальше сил нет, денег, времени, мыслей, отвратительное желание, холодильник скоро сломается, ноутбук уже сломался. Буду ехать на станцию и читать из английской поэзии (еще останется) или Генона, все-таки особенно

упоительно, если ехать на пригородном, читать и ухмыляться среди дачников и дачниц с кульками и корзинками. Или у себя, когда сам дачник, в зарослях под стрекот кузнечиков, жужжание жука и хруст хрущей, один других жирнее — гони, не отгонишь, — или в сарайчике с чаем, где руки не дошли/сил не хватило повесить липкую ленту, потому мухи, и какая-то даже привычка к мухам возникает, потом, если зной и сентябрь, курить возле пыльного окошка, возле облетающей паутины и снова — из такой-то поэзии... или радио, где тоже по-английски, словно окраины Ридинга и беда, или песни, или академическая, чтобы и не читать вовсе, а так — закрыть глаза (см. пер. с англ. «сомкнуты веки его, как уснул, дом без него, не его ли был дом? не его, и стул не его есть») и дышать пыль, и вот как будто бы нечто вспоминать (например, как Жоржик выудил из графини приличные деньги, где-то две, кажется, сотни на верное дело (ему немец что ли (немца в глаза не видел никто кроме Жоржика) предложил что-нибудь перекупить и перепродать, и снова перекупить, и снова, и снова), но как-то неудачно запнулся о торчащий из набережной штырь, ожидая немца (или шведа), и выронил сумку с деньгами в ранневесеннюю воду, нырнул (по его словам, а по мне, так сразу в уныние), поплыл и почти утоп (лежал в больнице с воспалением (надо полагать, воспалившимся от уныния, по-